

НОВОЙТИ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2 (970)

Февраль, 2006 г.

- [Вот какой Хармс! Взгляд современников](#)

-
- [ЭММА МЕЛЬНИКОВА](#)
- [ИРИНА РЫСС](#)
- [СОЛОМОН ГЕРШОВ](#)
- [КЛАВДИЯ ПУГАЧЕВА](#)
- [ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ](#)
- [СУСАННА ГЕОРГИЕВСКАЯ](#)
- [ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ](#)
- [НАТАЛИЯ ШАНЬКО](#)
- [БОРИС СЕМЕНОВ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)

- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)

- [83](#)
 - [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
-

Вот какой Хармс! Взгляд современников

Вот какой Хармс! — говорю я и тут же обрываю себя: а какой? Кроме внешнего облика — одежды, выражения лица, — в чем все авторы воспоминаний, в общем-то, сходятся, — он у каждого мемуариста свой, новый, другой. Иной Хармс. Как же так? Разве так бывает? Но любой художник-портретист, представляя зрителю портреты одного и того же человека, сделанные в разное время, скажет: что, не очень похож? Но это уже другой час дня, другое освещение. Что же говорить о р а з н ы х художниках, которые писали одного и того же человека в р а з н ы е г о д ы. И мемуаристы, чьи воспоминания представлены на этих страницах, видели Даниила Хармса в разные годы, и он не мог быть на протяжении полутора десятилетий (основной охват времени) одним и тем же, неизменным Даниилом Ивановичем.

Всё это как бы само собой разумеется. А вот что не столь очевидно.

Все мемуаристы сходятся в том, что Даниил Иванович Хармс был человек необыкновенный. И все, кто вспоминал о нем, чувствовали это уже тогда, когда его знали. Но вот незадача, — чувствуя, понимая, никто из них не озаботился в свое время что-то записать, с ним связанное (исключение — Корней Чуковский), никто не сослался на свой дневник или что-то подобное. «Если бы мы знали, что он будет так интересовать всех, — говорили мне, — мы бы, конечно, записали для памяти что-то... А так, это был наш друг, знакомый, обаятельный Даня, Даниил Иванович, с которым мы виделись часто, — что же тут фиксировать?..» Вот такое расхожее объяснение.

Не забудем, однако, что это было время (20-е, 30-е годы), не благоприятное для дневников. Дневника, собственного же дневника боялись. Он мог послужить — и, бывало, служил обличительным документом против того, кто его вел. (И удивительно, в частности, что в силу врожденной привычки дневники все же вели и Даниил Хармс, и его отец, Иван Павлович Ювачев.)

Итак, моя просьба вспомнить и рассказать о Хармсе заставляла многих врасплох. Но, начав вспоминать о нем, вспоминали его, за редким исключением, с удовольствием. Потому что Хармс был слишком колоритной фигурой, и забыть его никто из встречавших его, пускай десятилетия назад, не мог...

Даниил Хармс (1905—1942), поэт, прозаик, драматург, детский писатель, всё больше занимает читателей. «Меня, — писал он, — интересует только „чушь“; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявлении...» Теперь уже не кажется странным, что эта «чушь» оказалась для нынешнего читателя более существенной, чем та многозначительная литература, что процветала в его, Хармса, время. Хармс, который почти совсем не печатался в отпущенные ему полтора десятилетия, словно воскрес из литературного небытия и востребован нашим временем.

При жизни, как известно, он сумел опубликовать только два свои «взрослые» стихотворения и всего однажды на сцене ленинградского Дома Печати прошла его пьеса «Елизавета Бам», написанная в 1927-м. И всё! Да и то одно из напечатанных стихотворений было подправлено цензурой. Она не выдержала названия — «Стих Петра-Яшкина-коммуниста», убрав из него последнее слово. Это название не очень приятно сочеталось с началом стихотворенья: «Мы бежали как сажени / на последнее сраженье / наши пики притупились...» и так далее.

То, что Хармс писал, по его собственному признанию, не имело практического смысла. Зато читатель наших дней увидел в лаконичных, в полстраницы рассказах Хармса вполне представительную картину жизни. Скажем, в таком коротеньком рассказе, как «Начало очень

хорошего летнего дня (Симфония)» из его известного цикла «Случаи».

Да, читателя сегодня привлёк Хармс емкостью своего описания абсурдной жизни. Но он, читатель, ещё почувствовал, что это было по-своему беспримерное творчество. Хармс писал стихи, рассказы, пьесы без всякой надежды, что они увидят свет при жизни его. Писал «в стол». И не делал никаких попыток опубликовать им написанное.

Он был и есть безусловно из тех писателей, жизнь и судьба которых интересует читателя ничуть не меньше, чем его сочинения. «Элэс (прозвище Леонида Савельевича Липавского. — В. Г.), — обронил Хармс в своем Дневнике, — утверждает, что мы из материала предназначенного для гениев» (запись 22 ноября 1937 года). Читатель превосходно чувствует этот материал, составляющий основу личности Хармса. И пристально вглядывается в его жизнь и судьбу.

Всем своим жизненным поведением Хармс провоцирует своего читателя на это вглядыванье. Недаром он сам полагал, что «свою жизнь создать» для него едва ли не важнее, чем писать стихи. И это ощущали его близкие, друзья, которые его хорошо знали. Не зря, по свидетельству Я. С. Друскина, его первый друг, Александр Иванович Введенский, сказал: «Хармс не создает искусство, а сам есть искусство».

Всё это я говорю к тому, что воспоминания о нем — не какое-то отдельное, а многие — дают возможность прикоснуться, ощутить особенность человека, который «сам есть искусство».

Воспоминания о Данииле Хармсе я собирал и записывал на протяжении полувека. Пожалуй, уже никого из мемуаристов нет в живых. Но у меня никогда не померкнет чувство признательности к ним за то, что они делились со мной своими воспоминаниями о Данииле Ивановиче Хармсе.

ЭММА МЕЛЬНИКОВА

«ВПОЛНЕ ПРИЛИЧНО»

*Эмма Эдуардовна Мельникова, в девичестве Изигкейт (1901—1987), топограф.
Я записал ее воспоминания в декабре 1977 года у нее дома в Ленинграде.*

Я училась в английской школе. Она называлась Энглишешуле, но там, собственно, всё преподавание было на немецком языке. Основана она была англичанами-моряками, которые в свое время приезжали в Петербург. Помещалась в Максимилиановском переулке, дом 7. Теперь он называется переулок Пирогова.

Но Даня-то учился в Петершуле. Это Невский, дом 22—24. Он учился с моим братом Виктором. Но я считаю, что они все-таки были в разных классах. Виктор 902-го года, а Даня, кажется, 905-го. Так что они не могли быть в одном классе.

Я уже не могу сказать, как они познакомились. Вот он приходил к нам. Мы жили в Конюшенном переулке, дом 1, И еще был один товарищ, Лёня Воронин, — мы так его звали.

Я в то время училась в топографическом техникуме. И по окончании его уехала на Северный Кавказ. В 1927-м году.

С тех пор я потеряла их всех из виду. Данину судьбу вы знаете. И те двое в том же роде. Брат уехал, а к нам, девушкам, они не ходили. И когда я вернулась в 1932 году с Кавказа, уже никого не видела, не встречала.

Мой брат был по профессии булочник, рабочий-булочник. А Лёня Воронин, — я не знаю, чем он занимался. Он был сын богатых родителей, купца, может быть.

Даня иногда приходил, и мы с ним решали задачки по тригонометрии, алгебре. Он хороший математик был, очень развитой человек. Я после него не встречала никого такого. Во всех отношениях развитой.

У Дани было правильное лицо, классическое. Очень высокого роста. Худой, конечно, в те годы молодые. Всегда аккуратно и чисто одет был, причесан. Очень вежлив, хорошо воспитан. С девушками разговаривал на вы.

Где он потом учился, я не знаю, потому что, — что же, — ему было уже больше двадцати лет^[1].

Когда он приходил к Виктору, разговоры были, как когда молодые ребята собираются: кто что читал, что видел в кино. Очень интересовались книгами о путешествиях, об иностранных народах и странах. Что читали, то и обсуждали. Морской тематикой очень интересовались. И, начитавшись книг, курили трубки, воображали себя «морскими волками». Всем им хотелось во флот поступить.

Даня любил шагать по комнате. Помню, он нам декламировал «Иван Иваныч Самовар», еще до того как я читала это в книгах тогда. «Торопышкин», что ли^[2]? На охоту ходил с собакой.

Они очень много курили, и моя сестра Валя, Валентина, раз рассердилась и выкинула Данькину трубку за окно. Во двор. Дело было летом, окна были открыты. Даня вообще был невозмутим, что бы ни делали. Спокойно спустился со второго этажа, поднял трубку и вернулся. Но курить больше не стал.

Однажды он пришел в новом костюме. И один лацкан в нем был длинный, до колен у него. Я сказала:

— Почему так шит костюм?

А он сказал:

— Я так велел портному, мне так понравилось.

Но когда он в следующий раз пришел к нам, то этого лацкана уже не было.

— Он мне надоел, и я его отрезал.

Он был большой чудак и придумал такую сценку разыграть. Он предложил, чтобы я оделась няней, — передничек, косынку, взяла его за руку и вела бы по Невскому, в то время как у него висела бы на шее соска. При нашей разнице в росте — я маленького, годилась ему подмышки, а он очень высокий — это выглядело бы комично.

Я сказала:

— А если спросят нас, остановят?

Он сказал:

— Мы ответим, мы будем спрашивать: «Где здесь ведется киносъемка?»

Я не решилась на это приключение. А он любил придумывать всякие чудачества.

Он одевался как мальчик: всегда брюки гольф, под коленкой пуговики застегивались. Он не носил длинных брюк.

Вот их было трое: Виктор, Лёня и Даня. Они все псевдонимы взяли для самих себя. Они всё старались, чтобы на иностранный манер было, — им так нравилось.

В то время еще было модно писать стихи в альбом на память. Я попросила Даню написать мне что-нибудь, и он согласился. Я не помню даже, — домой ему давала альбом, что ли, или он у нас писал. И он написал мне в альбом свои стихи^[3].

Я только спросила его, прочитав с улыбкой:

— А это прилично?

Меня немного смутили «пивные стаканы и тараканы», — я с ним вообще не выпивала нигде. А он сказал:

— Вполне прилично.

ИРИНА РЫСС

«Я В БАРДАКАХ НЕ ЧИТАЮ!»

Ирина Филипповна Рысс (1907—1994), детский библиотекарь.

Ее воспоминания записаны мной в Москве, где она жила, 17 февраля 1992 года.

Я помню такой случай.

В 1926 году мы учились в мятлевском особняке, на первом курсе Высших государственных курсов при Институте истории искусств. Сам институт был в зубовском особняке, это красное здание.

Выступали обэриуты^[4]. Зал был битком набит. Мой муж Виктор^[5] тоже был там, хотя он в это время еще не учился в нашем институте.

Обэриуты стали читать стихи. Были Хармс, Бахтерев^[6], Шура Введенский^[7].

И стихи их наши ребята, конечно, не очень поняли. Поднялся шум^[8].

И тогда Хармс вскочил на стол и прокричал:

— Я в бардаках не читаю!

Конечно, наши мальчики вступились за честь наших барышень. И началась хорошая потасовка, началась драка.

Секретарем наших курсов, я помню, был тогда Лев Успенский^[9], он принимал участие — разгонял эту компанию.

И мы ничего не поняли из того, что они читали, — хоть наш институт был оплотом формализма, и мы на этом были воспитаны.

СОЛОМОН ГЕРШОВ

«БЫТ У НАС БЫЛ ЖАЛКИЙ...»

Соломон Моисеевич Гершов (1906—1989), живописец, график, иллюстратор детских книг. Запись воспоминаний С. М. Гершова сделана мной 27 и 28 декабря 1980 года в Ленинграде, у него дома на улице Космонавтов, 29.

Я с ним знаком был в те годы, когда я работал в издательстве «Детская книга»^[10]. Одновременно с ним в те годы работали, скажем, Заболоцкий^[11], Введенский, не считая Маршака, который ведал всем этим отделом литературным. Целая группа поэтов, причем интересных, талантливых. А изобразительной частью ведал Владимир Васильевич Лебедев^[12].

Прошло так много лет, и мне трудно сейчас объяснить толком и вспомнить, что нас сблизило. А нас очень сблизило. Мы встречались домами. Насколько я понимаю, его больше интересовало то, что я делаю в искусстве, живопись. А меня меньше интересовала его поэзия.

Встречи были всегда очень интересны, там бывали еще и другие поэты. Из художников Елена Васильевна Сафонова^[13] и Борис Михайлович Эрбштейн^[14] сблизились с ним.

Всё продолжалось хорошо до 32-го года. В том году вышло Постановление ЦК о роспуске художественных организаций по всем направлениям: живописи, поэзии и так далее. Была даже ликвидирована такая организация, как Ассоциация художников революционной России (АХРР), которую возглавляли Кацман^[15] и Перельман^[16]... Тогда сложная обстановка в этой области была в Ленинграде. Даже Кацман во время выступления одного из ораторов в Нарвском Доме культуры, которое вызвало у него очень резкую реакцию, схватил графин и бросил в своего оппонента.

И вот как раз накануне этого Постановления были репрессированы я, Хармс Даниил Иванович, Саша Введенский, Андроников^[17], Эрбштейн, Елена Васильевна Сафонова. Нас продержали шесть месяцев, после чего предложили высылку в город Курск. Вольную высылку.

Мы приехали туда летом. Я просто пришел на вокзал, купил билет и уехал в Курск, в котором я никогда до этого не был. Одновременно — только в разные дни — уехали и Елена Васильевна, и Эрбштейн, и Введенский, и Хармс.

Мы снимали там комнату. Достать площадь было трудно, потому что колоссальное количество ссыльных было в этом Курске. Трудно было достать уголок, хоть койку. И у нас не было другого выхода, как поселиться всем вместе в одном из подвальных помещений на главной улице — Ленина, что ли. Позже Елена Васильевна устроилась отдельно, все-таки ей, женщине, с нами было не очень удобно. А мы продолжали там жить.

Это был подвал, в котором проживала женщина. К элите ее никак нельзя было отнести, потому что она имела некоторое пристрастие к горячительным напиткам. Но так как каждый из нас платил ей за сданные койки, у нее ежемесячно образовывался капитал, которым она могла распоряжаться весьма спокойно и вольно. Ее образ жизни не контролировался. Но плохого она нам ничего не делала, даже иногда проявляла заботу о каких-то деталях нашего быта. Расстались мы с ней хорошо.

А комната выглядела так. Подвал. Половина окон смотрела в землю, половина — перед глазами всегда мелькали ноги, обутые в разные фасоны тогдашней моды. Комната была метров двадцать. Так что всегда мелькали тени на полу, на стенах — от движения.

Коек там было: Введенский — раз, Хармс — два, я — три, Эрбштейн — четыре, Елена Васильевна — пять и сама хозяйка. Вот сколько коек там было. Я уже не помню: Введенский и

Хармс, очевидно, рядом, они были близкие товарищи, поэты.

Было бы легкомыслием с моей стороны, если бы я намекнул на изысканность мебели. Весь гарнитур состоял из коек железных, матрацами служили сенники, — мы набивали мешки сеном. Подушки, кажется, были только у двоих, у остальных их не было. Подкладывалось что-то мягкое — пиджак, пальто, что-то из носильных вещей.

Это было типичное помещение, которое так хорошо описывал Максим Горький в своих детских воспоминаниях, связанных с Нижним Новгородом. Я даже думаю, что в этом подвале можно было бы не так уж плохо разыграть некоторые мизансцены из пьесы «На дне». Для этого были все необходимые атрибуты, я имею в виду рукомойник, кривой чайник, в прошлом подвергавшийся эмалированию (я ничего не сочиняю, всё было так), и, конечно, помойное ведро, которое мы по очереди выносили.

Очередь устанавливалась по расписанию. Текстовая работа над этим расписанием была возложена на меня и Бориса Эрбштейна. Выполнялось оно особым шрифтом (готическим) и вывешивалось над рукомойником.

Быт у нас был жалкий. Сплошное безденежье. Мы только и говорили о том, где достать деньги, где кто получил какие переводы. Ну, обсуждали мы наше положение, делились тем, что мы там видели: людей, базары — этим мы всегда делились друг с другом. Специфические бытовые условия поглощали нас целиком, и не было особых желаний заниматься обобщениями. Если и были деньги, то это кто-то присылал из родственников. Но при этом недостатка в продуктах не ощущалось. Приобретались они главным образом не в магазинах, а на базаре. Если я не ошибаюсь, Даниил Иванович имел склонность к молочным продуктам. Утверждать не берусь, но допускаю, что он тяготел к вегетарианству. Мне кажется, он был разборчив в ассортименте еды, причем это не было наслоением того места, где он находился по принуждению. Эту черту можно было заметить и в его доме в Ленинграде. Могу определенно сказать, что никогда в его доме не видел мясных блюд. А было что-то легкое, молочное.

Когда Елена Васильевна жила уже совсем отдельно от нас, произошел эпизод, который объясняет многое из того, что с нами случилось.

Елена Васильевна до ссылки проживала в большой коммунальной квартире профессора-химика Лихачева на Литейном проспекте. У этого профессора был сын, который всегда ходил в морской форме, он преподавал в Военно-морской академии английский язык. Больше всех нас с ним была знакома Елена Васильевна, потому что они жили в одной квартире. Меньше — я и Эрбштейн. Но бывали мы в этой квартире у Елены Васильевны часто. Когда в вечерние часы Ванечка, Ваня Лихачев, возвращался домой, он всегда приходил в комнату Елены Васильевны. Приходил с книжкой и, вытянувшись на диване, углублялся в чтение. А мы в это время сидели и вели свои беседы.

И вот когда в соответствующем учреждении фиксировали наши показания, то большая часть фраз — это было услышанное Ванечкой в те часы и минуты, когда он лежал на диване. Наши фразы не казались нам кощунственными и предосудительными. Но в интерпретации этого Лихачева они выглядели иначе. Мы сразу поняли причастность Ивана к нашей изоляции. Это прояснилось уже позже, когда следователь хотя и грубовато, но ловко начал манипулировать комбинацией фраз.

И вот однажды, когда мы были в ссылке, в окно Елены Васильевны кто-то постучался. Окно выходило в цветущий яблоневый сад. Подкравшись незаметно к открытому окну, кто-то позвал Елену Васильевну. Она откликнулась на этот голос и увидела «доброе знакомого» — Ваню, Ванечку Лихачева. Неожиданность не сбила ее с толку. Реакция была молниеносной: «Немедленно уходи, ты подлец!»...

Он играл коварную роль не только в отношении Елены Васильевны, но и всех нас, и Хармса

в том числе. Он же со всеми был знаком и многих загубил. Работал не за страх, а за совесть. Только неизвестно, зачем ему это нужно было. Камуфлировался он великолепно. Был величайшим знатоком английского языка и музыки. Они знали, кого вербовать...^[18]

Значит, что я помню о Хармсе? Это был человек необычайного обаяния, больших знаний и большого ума. И беседы наши были только об искусстве — и больше ни о чем. О Филонове^[19], о Малевиче^[20], были разговоры, так сказать, о путях искусства Европы, ибо слишком велико было влияние европейского искусства на искусство у нас. Так что эту тему можно было развивать глубоко, пространно и даже интересно. Наши беседы меньше всего касались поэзии, — эта область была для меня не очень знакома. Да и Даниил Иванович никогда ничего подобного не требовал, он знал мои склонности и что экзальтировать меня поэтическими находками невозможно, просто не поддаюсь.

Могу еще одну деталь сказать. Он любил разговаривать стоя, двигаясь по комнате. Двигаясь по комнате и не выпуская из рук трубки. С ней, как мне представляется, он не расставался не только днем, но и ночью.

Одевался он всегда одинаково, но несколько странно. Он носил гетры, — я никогда не видел его в другом антураже. Даже помню цвет его костюма: серый. На нем был жилет шерстяной, под цвет костюма. Таким образом внешне он несколько выделялся на фоне остальных мужчин — поэтов, художников и так далее.

Волосы на голове у него плохо росли, у него была предрасположенность к лысине.

Этот человек пользовался большой любовью всех, кто его знал. Невозможно представить себе, чтобы кто-нибудь сказал о нем плохое слово — это абсолютно исключается. Интеллигентность его была подлинная и воспитанность — подлинная.

Когда мне и Эрбштейну предложили оборудовать в бывшем соборе на главной площади в Курске художественный музей (это была наша первая работа в тех условиях), мы разъехались: Хармс и Введенский устроились отдельно... В этом музее мы проделали большую работу, так что заказчики были довольны. После этого Борис Михайлович получил приглашение в театр оперетты в Борисоглебске. Меня туда никто не приглашал, ибо я не театральный художник. Но покинули мы Курск оба.

У меня были сделаны три или четыре наброска с Даниила Ивановича: и тогда, когда он специально сидел, и тогда, когда я его ловил на ходу. Они все пропали.

КЛАВДИЯ ПУГАЧЕВА

«Я ПОНИМАЛА ДЕСЯТЫМ ЧУВСТВОМ, ЧТО Я ЕМУ НРАВЛЮСЬ...»

Клавдия Васильевна Пугачева (1906—1996), актриса. Адресат, быть может, самых значительных писем Хармса, которые он писал ей, когда она переехала из Ленинграда в Москву. Опубликовано мной в «Новом мире» в 1988 году (№ 4).

Основная запись воспоминаний осуществлена 20-го февраля 1987 года у нее дома, в Москве, на улице Строителей, 4, и дополнена другими моими записями ее воспоминаний, сделанными впоследствии.

Впервые я его увидела на наших «четвергах», которые устраивал Маршак в ТЮЗе, — он читал свои стихи. Маршак был у нас зав. литчастью и устраивал эти вечера. Приходили Житков^[21], Евгений Шварц^[22], Александра Бруштейн^[23]...

В ТЮЗе Брянцева^[24] я была с 24-го года и уже в 24-м была актрисой. Нет, вру. У нас был спектакль в Студии, «Вильгельм Телль», и я играла Телля. И этот спектакль иногда показывался на сцене ТЮЗа. У меня были длинные волосы, я была в хитоне. Мы все играли в хитонах.

После какого-то спектакля Брянцев привел за кулисы Антона Шварца^[25], Хармса и Маршака. И Антон Шварц это был первый мужчина в моей жизни, который поцеловал мне руку, а Брянцев тогда сказал: «Вот мы и взрослые стали». И потом, когда я играла в Театре Революции и персонаж там говорит Аннушке: «Вот мы и взрослыми стали»^[26], я всегда вспоминала Брянцева.

Мой первый муж Миша^[27] был сын Александры Яковлевны Бруштейн. Мы разошлись с ним при очень странных обстоятельствах. Миша из-за того, что просиживал в театре *целые дни*, — он был тогда студент Технологического института, — не сдал экзамены, и ему пришлось оттуда уйти. И отец его отправил в Саратов учиться.

Тут, когда Миша уехал, на меня накинулись кавалеры. Я не могу вспомнить, кто ко мне привел Хармса домой. Я думаю, что это Лева Канторович^[28]. Он был у нас в Студии художник-декоратор.

Хармс появился в черной шубе. Какая-то подстежка такая бывает, енотовая, такая же шапка. Я ему еще сказала: «О, шуба, как у попа».

Он приходил, прямо скажем, влюбленный, комплименты мне говорил и всё время просил: «Подарите мне что-нибудь на память».

Я ему сказала: «Так как вы человек оригинальный, то вам надо сделать оригинальный подарок».

И я ему подарила чекан — инструмент, на котором я играла в «Детях Индии». Это что-то среднее, вроде флейты с гобоем. Он его в письмах ко мне упоминает^[29].

Был очень смешной случай. Как-то я вышла из театра, и меня схватил сразу Ландау^[30]. А у Ландау была такая манера, — он мог прийти одетый как попало, — носки у него были с дырой, он как-то странно одевался, но я уже была замужем за Мишей, так что меня хорошо одевали. Значит, у меня была лиса, — тогда были модны рыжие лисы на пальто, через плечо. А мальчишки, зрители, мои поклонники, страшно не любили, когда меня кто-нибудь встречал после спектакля. И они обсуждали моего кавалера довольно громко: что он некрасив и не так одет. Я поворачивалась иногда и говорила: «Ребята, прекратите!»

Дау что-то сказал им дерзкое. Тогда они дернули меня за хвост у лисы, крикнули «На память!» — и подрали. Дау помчался за ними. Тут появился Хармс и сказал: «Помочь?» Я ему: «Что помочь?» — «Вашему кавалеру». Я говорю: «Конечно». И он побежал за ними. И они мне принесли лисий хвост как трофей. Хармс вежливо сказал: «Я исполнил свой долг» — и удалился. Мы пошли дальше с Дау, он провожал меня.

А потом дома, когда Хармс у меня был, он спросил: «Кто это был?» — о Дау. (Тогда Хармс еще не бывал у меня. Я ему сказала: «Человек, который мне свидание назначал на кладбище». Хармс сказал: «Оригинально». Я ему даже не объяснила, кто это такой.)

Он смешной был человек, Хармс. Рассказывал он необыкновенные истории, я его слушала с открытым ртом. Он мне всегда говорил: «Вы как малое дитё, — когда вы открыли рот, я уже знаю, что вам интересно».

И я всегда его спрашивала: «Это что, правда, или вы придумали?» Он всегда рассказывал, что это с ним всё было.

И всё время звал меня к себе домой, чтобы я посмотрела какую-то адскую машину. А когда я спрашивала: «А зачем вам такую машину в доме держать?», он говорил: «А я *по ней* узнаю людей. Если человек приходит и спрашивает: „Что это за машина?“, то это *один* человек. А если ничего не спрашивает, то это *другой* человек». Он, конечно, разъяснял, что он имеет в виду, но я уже не помню, что это значит. Он говорил, что у него были неприятности из-за этой машины, потому что думали, что она взрывательная^[31].

У него были такие истории, что даже не верилось, что это могло быть. Но он каждый раз уверял, что это было с ним. И я смеялась от души.

Дома у него я ни разу не была.

Когда я говорила, что я сегодня в театре, он всегда спрашивал: «Кто вас сегодня провожает?»

Однажды он лег у меня на диван, закрыл глаза и сказал: «Если б я мог остаться здесь навсегда!» Я подошла к нему — тоже дура была! — положила два пяточка ему на глаза и сказала: «Придется вам умереть немедленно».

Никакой надежды я ему не давала. Я относилась к нему очень хорошо, но только как к автору. Вы что шутите — сколько его стихов в ТЮЗе на «четвергах» прочитала! Сколько раз я читала его «Сорок четыре весёлых чижа»!

«Жили в квартире Сорок четыре Сорок четыре Весёлых чижа...» Но я почему-то думала, что это только Хармс написал. А потом я прочла в сочинениях Маршака, что это и Маршак написал^[32].

Это ведь всё было так. Даниил мне много сам читал. Он мне рассказывал, читал. Я ему пела. Он безумно любил «Цыганочку». Тогда цыганские певицы перестраивались...

Я думаю, что он приходил ко мне поржать. Он так смеялся, когда я выпендривалась. Он всегда ко мне приставал: «Умирать будем?.. Уезжать будем?.. „Цыганочку“ будем?..»

Он еще говорил: «Щепкину-Куперник^[33] вспомним?» Она писала для нашей студии чудовищные стихи, — она тогда тоже перестраивалась. Я их так ненавидела, что даже помню, конечно.

Люди мысли, люди дела,
Вы ко мне явитесь смело,
Побросайте все станки,
Книги бросьте из руки.

Одарю я вас цветами,

И мечтами, и лучами.
В груди ваши я волью
Новые восторги, силы.

Вы мне любы, вы мне милы,
Вы мне милы навсегда,
Люди честного труда!

И мы эту дрянь должны были читать. Дети, дети! Мы плевались ее стихами.
Еще я читала ему, я его всегда изводила:

Я б умереть хотел на крыльях упоенья,
В ленивом полусне, навеянном мечтой,
Без мук раскаянья, без пытки сожаленья,
Без малодушных слез прощания с землей.

Я б умереть хотел душистою весною
В запущенном саду, в благоуханный день,
И чтобы кипа роз дремала надо мною
И колыхалась цветущая сирень.

Чтоб не молился я, не плакал, умирая,
А чтоб волна немая
Беззвучно отдала меня другой волне... [\[34\]](#)

И я всегда ему это читала и говорила: «Я скоро умру и перед смертью буду читать эти стихи». Он всегда говорил: «Вы знаете, сколько вы проживете?» — «Сколько?» — «Минимум сто». Я, кажется, к этому приближаюсь.

Я еще тогда пела. А потом сорвала себе голос в Нарвском Доме культуры. Я пела частушки и сорвала себе голос. У меня сестра пела, брат пел. Тогда пели в манере цыганской. И юбки поднимала, и шлепала ногами, и выбрасывала ноги. И я всегда пела «Цыганочку».

Я читала при Хармсе всегда одни и те же стихи. Я не помню, чьи.

Ушла... Завяли ветки
Сирени голубой.
И даже чижик в клетке
Заплакал надо мной.

Что пользы, глупый чижик?
Что пользы нам грустить?
Она теперь в Париже,
В Берлине, может быть.

Страшнее страшных пугал
Красивых честный путь.

И нам в наш тихий угол
Беглянки не вернуть.

От Знаменья псаломщик
Зашел попить чайку,
Большой, костлявый, тощий,
В цилиндре на боку.

На днях его подруга
Ушла в веселый дом,
И мы теперь друг друга
Наверное пойдем.

Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему.
Весь мир необитаем,
Не ясен он уму.

А песню вырвет мука.
Так, старая, она:
«Разлука ты, разлука,
Чужая сторона».

Это, кажется, даже Гумилева^[35].

Любовных объяснений у меня с ним не было. Я относилась к нему как к старшему товарищу, которого надо развлекать. Я не знаю, намного ли он был старше меня. Я-то считала, что он намного старше. Другие звонили: «Я бегу!» А он звонил: «Можно к вам зайти?» Я понимала десятым чувством, что я ему нравлюсь. Но в этом не было элемента, как между мужчиной и женщиной. Я уже привыкла к тому, что я мальчишкам нравилась. Но я его считала мужчиной.

Он приходил, на каком-то языке произносил несколько фраз. По-английски, что ли. И потом делал рожу такую: непонятно? — «А что вы сказали?» — «А это я не скажу, что я сказал».

Он очень скромно себя вел. Ужасно стеснялся, когда я его угощала. Уходил поздно, — засиживались до двух часов. Но он много читал, не только свои стихи.

Я не собиралась за Хармса замуж, — прямо скажем, он мне нравился как поэт, как талантливый человек, и нравился мне в это время Коля Акимов^[36]. Но я видела, что он восторженно относится ко всему, что я делала. А когда видишь, что человеку нравишься, то лезешь из кожи вон, чтобы доставить ему удовольствие.

Мне в моей жизни приписывали много романов. С кем увижусь — с тем у меня роман! Так и с Хармсом.

Однажды он был очень взволнован. Он сказал, что когда уходил из моего дома — а у нас закрывались ворота, — дворник открывал ему. А денег у него не было. И он его так благодарил: в его ладошку будто бы вкладывал кулаком деньги, разжимал кулак, а потом закрывал его ладонь, и дворник, убежденный, что он дал деньги, кланялся, кланялся и кланялся.

И когда он мне это рассказал, я ему сказала: «Ну какое свинство! Что ж вы обманываете, —

вы бы мне сказали, я бы вам дала деньги». Он говорил: «Ну не было у меня денег!..» А может быть, он всё это выдумал.

В 1932 году я приняла приглашение Николая Павловича Охлопкова на роль брехтовской Жанны д'Арк и переехала в Москву, в Реалистический театр^[37]. С тех пор он мне писал. Я только очень хорошо помню вот что. Меня потрясло, что он, как он говорит, видел меня четыре раза^[38]. Это он врет. Четыре раза он был у меня в доме. А я его видела и на «четвергах», и когда он заходил за мной после спектакля.

Самое смешное, что в письмах^[39] он меня называет Клавдией Васильевной. А в жизни он меня не так называл. Капелькой. Но меня многие так называли^[40].

А теперь о конце нашей переписки. История тут такая.

Володька Яхонтов^[41] был безумно в меня влюблен, — что было, то было... Он был талантливый человек, пусть земля ему будет пухом. И страшный хулиган. Мы с Володькой репетировали «Горе от ума». Он хотел делать театр на двоих. Я тогда уходила от Охлопкова... Он приходил ко мне каждый раз с новой дамой, бросал к ногам плащ, на диван — цилиндр и кричал: «Моя жена!» Я ему сказала, что, если ты не перестанешь водить ко мне б...ей, я с тобой не буду иметь никакого дела.

Вот однажды приехал Моргулис^[42]. Я первый раз в жизни его видела и последний, слава Богу. Володьку приглашали в разные дома. Он умолял меня поехать с ним. «Поедем! Поедем!» — «Ну поедем». Когда мы приехали, там были одни женщины. Но Володя повел себя так хулигански, что — а было очень поздно — я ушла в другую комнату и просила Моргулиса меня проводить. Но он сказал: «Я не могу, я с Яхонтовым пришел». Потом Володька пришел, и я ему всю ночь выговаривала. Где был Моргулис, я не знаю. После этого Володьке я не открывала ни на один звонок. Вот, видно, Моргулис что-то написал Хармсу, и Даниил Иванович после этого написал мне такое письмо.

Я ему после его письма *ни звука* не написала. Как только он упомянул Моргулиса, я поняла, что Володька столько наговорил Моргулису! Моргулис мог всё это рассказать Хармсу...

Это было последнее, письмо, которое я получила. И когда я увидела слово *Моргулис*, Хармс для меня закончился^[43].

Мы расстались с ним в письмах.

Первый раз в жизни Даниил Иванович позвонил в Москву, — он никогда не звонил, — и спросил: «Вы живы?» — «Да, — сказала я. — А что за странные письма вы мне шлете?» На что он сказал: «Неужели вы ничего не поняли? Я всё еще вас люблю по-прежнему». И он повесил быстро телефон.

Вот почему мне странно, что он быстро женился. Значит, всё это было придумано? В общем, не знаю, не знаю. Я рассталась на том, что он меня всё еще любит, и вдруг узнаю, что он женился. И всё, больше я ничего не знала, не получала от него.

Был еще один телефонный звонок, где он извинялся: «Клавдия Васильевна, вы меня простите за такое письмо». А я его не получала. Я сказала, что если вы общаетесь с Моргулисом, нам разговаривать не о чем. Больше он мне не звонил. Я не знаю, что ему написал Моргулис.

А что касается «Травы», то это письмо я, наверное, разорвала^[44].

Я дама была странная, как вы понимаете. И я могла получить письмо от Акимова, вставить в письмо, которое я писала Хармсу, и отослать. Я могла переписать из письма Даниила Ивановича что-нибудь оригинальное, а остальное разорвать. Это чудо, что эти письма еще сохранились, я не такие еще письма рвала. И мне перед Наташкой Кончаловской^[45] неловко. Я письмо, которое я списала у Дани, послала ей.

Странно, что у него не сохранилось ни одного моего письма.

Для меня Хармс еще не был таким великим человеком. Я считала, что я пуп земли. А всё случилось наоборот: те, кого я знала, сделались академиками, знаменитостями, а я влачу...

ИЛЬЯ ФЕЙНБЕРГ

«Я НЕ ПОНИМАЛ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ»

Илья Львович Фейнберг (1905—1979), литературовед, пушкинист.

Запись воспоминаний И. Фейнберга сделана мной 9 марта 1979 года, незадолго до его смерти.

Из обэриутов я знал только Хармса. Сказать, что близко, было бы преувеличением. Я был у него как-то в гостях. И обедал с ним в Доме Печати... Я его хорошо помню, прекрасно помню.

Был у него дома. У него там футуристические абажуры были.

Добряк был, хотя не рубаха-парень. Человек он был безумный безусловно.

Ходил в парчовой куртке и жилете.

И когда я у него был, он завел речь об отце, и я его спросил:

— А кем он был, ваш отец?

— Он *не был*, а жив...

И этот ответ я помню, хотя с тех пор прошло пятьдесят лет.

— Сначала он был астроном, потом — сумасшедший, а теперь он богослов^[46].

Если учесть, что это было в 30-м году, то это выразительно. Я спросил его, просто заинтересовавшись его семьей.

Читал он охотно, — это не было моей привилегией. «Вы знаете? Вы знаете?..»^[47] И другое.

Потом я купил «Пауль и Петер»^[48]. Я очень люблю его и считаю, что он поэтически выше, чем оригинал.

Я сожалею, что я вам столь немногое рассказываю, — я не понимал его значение.

СУСАННА ГЕОРГИЕВСКАЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНО СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Сусанна Михайловна Георгиевская (1910—1974), писательница, прозаик, писала и для детей и для взрослых.

Запись ее воспоминаний о Хармсе сделана мной 7-го июня 1963 года у нее дома в Москве, на Красноармейской улице, 27.

Хармс был другом Савельева, моего учителя и друга^[49]. Слово друг в их среде принято не было, ибо это понятие пошлое, и вообразить, что они говорили такие слова, немислимо.

Савельев был человеком мира сего и крайне самолюбив. Он думал о заработке и всегда имел деньги. Хармс часто одалживал у Савельева деньги, Савельев давал их неохотно и впоследствии стал Хармсу цинично отказывать, потому что не только испытывать, но и выражать своего рода благодарность считалось пошлостью в этой среде (исключая Савельева, который в силу своего огромного ума был нормально человечесен).

Вскоре я увидела Хармса. Нас познакомил Савельев, желавший мною похвастаться перед Хармсом. Хвастаться же было возможно только женщинами и своей над ними победой.

Хармс помнится мне как человек огромного роста, очень эксцентрично по тому времени одетый. На нем была кепка жокея, короткая куртка, галифе и краги. На пальце — огромное кольцо, с печатью (в то время не только мужчины, но и женщины не носили колец, это не было принято).

Мы пошли в «Европейскую»^[50], которая была напротив Детиздата. Хармс производил впечатление чрезвычайно светского человека. Держал себя свободно и, как все очень светские люди, давал возможность развернуться своему собеседнику.

Хармс мне сказал:

— Савельев говорит, что вы самородок.

Я спросила:

— Что это значит?

Не привыкнув чему-нибудь удивляться, он стал добросовестно объяснять:

— Самородок — это нечто существующее от природы, где в ценности явления нет ничего привнесенного.

Через день я спросила Савельева, как понравилась Хармсу. Тот ответил:

— Вы ему не понравились. Он сказал, что у вас плоская макушка.

Работая в редакции в качестве младшего редактора, я часто видела Хармса. В руках он обычно держал палку, был всё так же одет, как в первый раз, когда я увидела его.

Времена изменились. Хармса печатали с опаской. Обо всех разговорах, касающихся Хармса, я тотчас же рассказывала Савельеву, а он с большой точностью передавал их Хармсу, чтобы вооружить его. Был 1938-й год. Когда над головой Хармса собирались тучи, он, по словам Савельева, тотчас садился в сумасшедший дом и на всякий случай числился на учете как шизофреник.

Помню следующий случай: Хармсу хотели поручить стихи в качестве подписи под рисунки художника Пахомова о детском саде^[51]. Для этого ему надо было показать детский сад. Он должен был ждать меня около своего дома на Петроградской^[52]. Для этого мероприятия Чевычелов, директор издательства^[53], дал машину. Пока я надевала пальто и шляпу, политический облик Хармса внушил Чевычелову недоверие. Сев в машину, я должна была

подъехать к Хармсу и сказать ему, что мероприятие отменяется. Подъезжая к дому Хармса, я уже издали приметил его характерную фигуру, очень высокую и чуть сутулую, — от крайней вежливости, как мне казалось, от частых поклонов. Я была в ужасе, не знала, как сообщить, чтобы он шел домой, и сказала, что рисунки Пахомова за истекшие десять минут успели забраковать. Об истинной ситуации Савельев тотчас же сообщил Хармсу с моего рассказа.

Я видела Хармса часто, и он был со мной неизменно подчеркнута вежлив, но, как мне было известно, неизменно презирал меня и приносил мне всяческое зло. В частности, он солгал Савельеву, что у меня роман с молодым писателем Гóловым^[54]. Относясь ко мне пренебрежительно, он не давал себе труда вступить со мной в разговор, о котором стоило бы вспомнить. Но мне было известно со слов Савельева, что Хармс ненавидит детей и бравирует этим. Ребенка Введенского, трехлетнего мальчика, Хармс в разговоре с Савельевым иначе как гнидой не называл. Это отношение к детям Савельев считал совершенно естественным.

Дома у Хармса главной мебелью был сундук, обклеенный эксцентричными вырезками из журналов, главным образом голыми женщинами.

Дома Хармс и его жена Марина^[55], очень воспитанная светская женщина, зимой и летом ходили голыми.

Когда Хармс выступал перед детьми, в искренности веселья, в умении дурачиться была видна непосредственность, детскость, и становилось искренно его жаль за ту титаническую работу, которую он проделывал над своей душой, чтобы быть стервой и только ею^[56].

Вся эта группа лиц (исключая Шварца) находилась в своеобразных враждебных (дружеских) отношениях. Они дурно говорили друг о друге, кроме Савельева, который был объективен всегда и считал Введенского, Олейникова^[57] и Хармса гениальными поэтами и очень привлекательными мужчинами. О Хармсе — без тени осуждения, как нечто само собой разумеющееся, — Савельев говорил, что это человек злой в чистом виде, без примесей, что редко встречается. Соревнование среди них шло главным образом по линии женщин и успеха у них. Это, то есть женщины, считалось областью, достойной существования и бессмертной. Побивая рекорды друг перед другом, они ухаживали за женщинами, независимо от их социального положения, в орбиту внимания попала и молодая лифтерша Детгиза.

У меня дома Хармс никогда не бывал, ухаживал он за моей подругой Бебой Левиной и бывал у нее вместе со своей женой Мариной.

Я никогда не видела его ни раздраженным, ни опечаленным. Трудно представить себе, что Хармс при каких бы то ни было обстоятельствах повысил бы голос. Он был неизменно корректен и вежлив. Ничего из того, что он думал и чувствовал, по его поведению было угадать нельзя. Дамам он целовал руки, по старинке шаркал ногой, как писатель вел себя внешне крайне скромно.

Вот и всё, пожалуй, что я могу вспомнить о Хармсе, кроме рассказов Введенского о его крайней испорченности, которым я и тогда не придавала ни веры, ни цены, ибо Хармс мог сам на себя лгать или говорить о себе, как герой Чехова, восклицавший: «А я люблю негрятенок!»^[58], не испытывая этого. Так попросту было модно в их кругу. Им казалось, что, эпатируя окружающих, нарушая существующие нормы, они заявляют свои права на самостоятельность мышления, и, оставаясь декадентами, забывали учесть, что в этот период ломкой норм было только одно: человечность.

ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ

«У НАС БЫЛ ОБЩИЙ С НИМ СЛЕДОВАТЕЛЬ...»

Беседа с В. А. Власовым

Василий Адрианович Власов (1905—1979), график, художник книги.

Запись беседы осуществлена мной 20 и 21 ноября 1974 года в его мастерской (Ленинград, Песочная набережная, дом 16).

Привожу запись только первого дня.

20 ноября.

Спрашиваю о Хармсе, о Введенском, об Олейникове.

Василий Власов. Я с ними встречался, это были мои хорошие знакомые. В пору расцвета их деятельности, и до и после, а в этот период я встречал их очень случайно и от этого мира был отделен своей кинематографической деятельностью.

Владимир Глоцер. Может быть, начнем с Хармса?

В. В. Очень, понимаете, трудно сказать что-то осмысленное — полезное и ценное...

В. Г. Помните ли какие-нибудь эпизоды? Как вы его увидели впервые?

В. В. Нет, нет, это уже не найти, когда это было в первый раз.

Вдруг:

В. В. Это не имеет, конечно, никакого отношения, но это обстоятельства, которые никогда не забываешь. У нас был общий с ним следователь, хотя мы в разную с ним пору попали туда. (Смеется.) Ну этих, Бахтерева и Разумовского^[59] вы знаете?.. А Ягдфельда^[60]?

В. Г. Он может знать?

В. В. Конечно! Это никуда не входит, это для вас, в копилку. Я не помню, через какой интервал он познакомился с моим следователем. Я там вместе с Введенским эту школу проходил. В Ленинграде было, собственно, два специалиста по художникам и писателям. Вероятно, были и другие, но во всяком случае большинство художников и писателей, которые имели счастье познакомиться с этим учреждением, неизбежно сталкивались, как выяснилось, помимо прочих сотрудников этого учреждения, с двумя следователями, которые явно специализировались на художниках и писателях и очень хорошо нас знали. Так, мне, после того как я сам с ними встретился, когда я их интересовал как таковой, привелось с одним из них встретиться в то время, когда этот следователь имел дело с Даниилом Ивановичем.

Эти два следователя работали вместе, — по очереди допрашивали, иногда вдвоем, причем назывались они в Ленинграде Сашка и Лёшка^[61]. Лёшка был, как он сам объяснял, литературовед, занимался Горьким и даже напечатал какую-то статью до этой своей карьеры. Кто был второй, я не знаю, — может быть, его по комсомольской линии направили, он был редкостного добродушия человек. И склонный к веселью, человек был жизнерадостный. Тот, второй, специалист по Горькому, человек был мрачный.

И вот в ту пору, когда там был Даниил Иванович, я был вызван в качестве свидетеля к этому жизнерадостному следователю, но по совсем другому делу. Выяснив, что я абсолютно бесполезен по существу того вопроса, который его интересовал, он мне стал рассказывать про Даниила Ивановича, понимая, что я его знаю. Так, по существу наших отношений и обстоятельств нашей встречи, какой бы то дружеской беседы быть не могло. Но так, видно, его само это знакомство с Даниилом Ивановичем переполнило, что он был рад случаю поделиться с человеком, который это поймет и оценит. Смысл, общий смысл того, что он мне рассказал,

сводился к тому, что он никогда не встречался с такими подследственными. И что даже вообще могут быть такие люди.

Даниил Иванович вел себя с ним абсолютно серьезно, корректно, то есть ничем не отличался от среднего человека. На его вопросы отвечал очень обстоятельно, то есть, собственно говоря, исчерпывающе, с точки зрения самого этого процесса следствия. Но каждый раз, когда на какой-то вопрос он получал именно вполне серьезный ответ, он, как человек, конечно, склонный, расположенный к юмору, начинал хохотать. А Даниил Иванович делал вид, что он обижается. Причем его тогда поразила какая-то невероятная способность при таких неблагоприятных, в общем-то, условиях к таким глубоко остроумным экспромтам.

В. Г. Хохотал следователь?

В. В. Да, да. Хохотал... Его поразило остроумие Даниила Ивановича, которое подавалось абсолютно серьезно. Причем, так как человек он был, в общем-то, достаточно примитивный, он понял, что с точки зрения своих обязанностей он, по существу, ничего не делает того, что от него требуется, то есть следствие не ведет, а подследственный его развлекает. И он мне сказал, что, подумав, решил отказаться от ведения следствия, настолько Даниил Иванович держал его в руках и не давал ему идти по стандартному пути, которого требовали от него эти служебные обязанности.

Мне (*смеется*) прекрасно запомнилась изумительная деталь, которую он мне сказал. Комнаты, в которых происходили встречи арестованных со следователями, не имели никакого убранства, кроме трех стульев и стола, за которым сидел следователь. Я сам этого не помню, но он мне сказал, что у дверей был половичок, — вытирать ноги. При втором или третьем допросе Даниил Иванович уже в начале сказал этому Сашке так называемому...

В. Г. Сашка был веселый?

В. В. Сашка, Сашка, Лёшка был специалист по Горькому. Даниил Иванович сказал, что беседе мешает половичок, который был за спиной у него, у Даниила Ивановича. Мешает потому, что от следователя силуэт проецируется не на гладкую дверь, а на половичок, и это-де, мол, следователя отвлекает и мешает сосредоточиться. *Следователю* мешает сосредоточиться. Когда тот засмеялся и сказал: «Это же ерунда!», то Даниил Иванович сказал: «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, пока вы не создадите для себя нормальной обстановки для вашей работы».

Так как в процессе следствия, кроме бесед и тех записей, которые делал следователь, в ту пору практиковалось предоставление возможности подследственному самому, зная круг вопросов, которые, так сказать, интересуют следствие, написать свои показания, Даниил Иванович сказал этому Сашке, что Сашка бестолков и что будет гораздо лучше, если Сашка даст волю бумаге и предоставит ему возможность всё, что интересуется следствие, изложить в письменной форме. И этого Сашка так испугался, представляя, какой получится документ, за который и он будет нести ответственность, что решил от Даниила Ивановича отказаться...

(*Со смехом.*) Видите, это воспоминания не мои, а следователя. Подождите писать всё... Из этого рассказа довольно примитивного человека я понял, какой был невероятно необычный человек Даниил Иванович. Понимаете, это был примитивнейший человек, но тем не менее человек, через руки которого прошли Тарле^[62] (он, конечно, был младший следователь), весь круг ленинградской интеллигенции. Но рядовыми следователями, которые осуществляли непосредственно допросы, была вот эта пара.

В. Г. Какой это год?

В. В. Когда он был арестован? В 37-м?..

В. Г. Смотря какой раз.

В. В. Это было, по-моему, в 37-м. По тому делу, по которому он меня вызывал, — это, по-

моему, 37-й год был. Да так вот, там надо вставить, что половичок он убрал. Он открыл дверь и вышвырнул его в коридор.

В. Г. А потом все-таки отказался от ведения этого дела?

В. В. Да. Как я понял, он догадался, что будет в дураках. Начальство не убедит его деятельность. Я вам рассказал это именно потому, что исключительные обстоятельства этого следствия, они говорят об исключительности личности Даниила Ивановича. Вы представляете, что сама эта обстановка не располагает ни к остроумию, ни к чему, — она все-таки достаточно выбивает человека из колеи. И эти следователи, конечно, вовсе не были такие простачки. И в частности, Сашка этот имел к 37-му году большой стаж. Потому что, скажем, как следователь он был и очень *хитер*, и, по-видимому, владел приемами следствия в полном совершенстве. Тем не менее он, сам же не будучи таким глупым, понял, что он абсолютно бессилён в данном случае. Хотя, конечно, как преступник Хармс был в высшей степени примитивное существо по сравнению с теми, какие могли бы быть.

В. Г. А вы видели Даниила Ивановича после этого следствия?

В. В. (*подумав*). Нет, нет. Нет, не видел.

Я думаю, что в те годы я едва ли кому-нибудь это рассказал. Так, из соображений осторожности, только. Вот. Он ведь — вам, вероятно, рассказывали? — он ведь в быту был страшно интересный человек. Необычность его обыденного поведения, — она была очень непохожа на поведение играющих в жизни людей. Самые какие-то непривычные для нас вещи — одежда ли, или детали одежды, — всё у него никогда не выглядело сочиненной экстравагантностью. И даже чудачеством. То есть потом, после встречи с ним, вы могли подумать, какой он чудак, а непосредственно в момент столкновения с Даниилом Ивановичем, всё казалось абсолютно закономерным, нормальным, настолько это было, по-видимому, органично.

И вот такое впечатление всегда оставалось при беседе с ним. Хотя то, что он говорил, было очень необычно, но, так сказать, в его устах казалось совершенно таким последовательным и обязательным. Я не знаю, но думаю, что для людей, с которыми он часто встречался, ну, скажем, в сфере литературной, он обладал такой, мне представляется, огромной силой воздействия и влияния. Он ведь был очень спокойный человек, — какие-то мысли, которые он вам предлагал, и было совершенно очевидно, что они неожиданны и требуют определенного нажима для того, чтобы вы их восприняли, — он это делал, никак не акцентируя своей неповторимости. Для меня важно, Владимир Иосифович, не то, что вы записываете, а улавливается ли из этого изложения смысл?

В. Г. Безусловно.

В. В. Я думаю о разных других людях, нестандартного мышления. Ну хоть взять того же Стерлигова^[63]. Типично для таких людей, мне представляется, — да я так вспоминаю очень больших художников, — Петрова-Водкина^[64], Татлина^[65], Филонова, — они всегда, по-разному, но акцентировали своеобразие той мысли, которую они вам предлагали. Причем, скажем, какие-то подобные люди ищут форму открыто эксцентрическую, что как будто бы по складу Даниила Ивановича было бы уместно для него. А тем не менее, скажем, очень остроумные и смешные вещи он рассказывал, если хотите, очень заунывно, без всякой подачи.

Я вот вспоминаю Михал Михалыча Зоценко. Он тоже любил рассказывать очень смешные вещи с печальной интонацией, но при всем его уме, таланте, — это все-таки была игра. А вот у Данила Иваныча вы не ощущали никак этого. Скажем, Евгений Львович Шварц, он, прежде чем что-либо вам сказать, он вас уже подготавливал *мимикой*, что это будет остроумно. Вот, скажем, Олейников — тот просто любил паясничать в быту. Если начисто не знать, что и как писал Даниил Иванович, и снимать его для немого кинематографа, то осталось бы впечатление, что это скучный по своему содержанию человек. Может быть, даже чуть чопорный.

Владимир Иосифович, интересно, вот так проходит очень много времени, — интересно, люди очень по-разному вспоминают об одном и том же человеке?..

Прервем до следующего раза.

НАТАЛИЯ ШАНЬКО

«ПРИПИШИТЕ, ЧТО ЭТО ХЛЕБ КИРШОНА...»

Наталья Борисовна Шанько (1901—1991), переводчица английской литературы для детей. Жена тещи Антона Шварца.

Запись воспоминаний Н. Шанько сделана мной 26 августа 1984 года у нее дома в Ленинграде, на Васильевском острове. В письме, написанном буквально на следующий день, 27-го августа, Наталья Борисовна дополняла свой рассказ о Хармсе. Это письмо приводится здесь же, после записи.

Кто его к нам привел, я не помню. Так же, как я не помню, как я познакомилась с Эськой^[66], тысячу лет знакомы — и не помню. Это примерно половина 30-х годов. У нас бывало много народу, а кто его привел, не вспомню.

Мы жили на Невском, 88, квартира 80.

Всегда подтянутый, всегда вежливый, прекрасно воспитанный. Очень выдержанный.

Почему я спросила вас, как звали двоюродную сестру Марины [Малич], — потому что он сначала приходил не с Мариной. Потом стал приходиться с Мариной. Всё чаще и чаще. И так до самого отъезда нашего в эвакуацию, до самой войны.

Итак, я чаще всего видела его у нас дома, на Невском, 88, — там до войны мы и жили. Это был шестой этаж, тогда без лифта, и мы этого не замечали.

Специальной темы разговоров у него никакой не было. О литературе, об общих знакомых. Масса трепотни было, масса смеха... В пьесе, которую он посвятил нам с Антоном Исааковичем^[67], встречается Павел Карлович Вейсбрем^[68]. Это режиссер Антона Исааковича, вот они — с женой, актрисой Марией Прижан-Соколовой (она и сейчас у Товстоногова)^[69], — у нас часто бывали. Павлик писал много стихов: смешные и похабные, прелестное было существо. Я нарочно отдала их Машке, потому что если бы было найдено у меня в архиве, то это имело бы совсем другой оттенок.

Это было еще то время, когда он не был женат на Марине. Ходили, ходили, потом поженились.

Вот я помню то, что относится к его самому первому аресту, когда он работал в Детгизе. Когда еще Ираклий сидел^[70]. Вы знаете, кто его посадил? Женя Берш^[71]. Сволочь такая, она уже умерла, кажется. Она и Эську посадила. Как его фамилия — того, у кого они постоянно встречались на Петроградской стороне?.. Одним словом, когда его следователь допрашивал, Даню, Даниила Ивановича, и спрашивал, почему он так часто бывает на Петроградской стороне у каких-то своих знакомых, зачем они там собираются, Хармс ответил, что они хотят под Невою сделать подкоп под Смольный. Следователь, конечно, страшно взволновался и спросил: «А зачем под Смольный вам надо делать подкоп? Зачем вам Смольный?» Хармс ответил: «А мы хотели узнать, остались ли еще там институтки?»^[72] Следователь был очень обескуражен таким ответом.

Он сидел в одиночке, все время ходил из угла в угол и манипулировал шариком. Вы же знаете, что он хорошо манипулировал шариком?.. И следователь спросил: «Что это за шарик? что вы с ним делаете?» Хармс сказал, что это бомба, которую он подготавливает к тому, чтобы бросить ее куда надо. Ну, шарик отобрали.

Марина вас интересуется? Это было прелестное существо. Умница. Очень интеллигентная, очень хорошая, очень тактичная, как и он. И отношения у них были очень трогательные. Это всё

брехня, что говорят иногда. Физической близости последнее время не было, — уж что там, я не знаю, но они относились друг к другу трогательно необыкновенно. Даниил Иванович страшно боялся всяких передвижений. Он не мог себе представить, что можно куда-нибудь поехать дальше Пушкина. Когда Марина как-то полетела в Москву к своим родственникам или куда-то на самолете, он с ума сходил...

Я помню, Марина очень хотела попасть на балет, я достала билеты. И она пришла к нам после спектакля — «Лебединое», по-моему, мы смотрели. Я пришла домой раньше, чем Марина. И Даня уже обрывал телефон: «Где, что Марина?!» А на этих пьяных оргиях у них мы не бывали. Один раз только.

Он все время играл, все время что-то выдумывал. Он любил собак. *При мне* у него собаки не было, была только воображаемая. И имя он ей дал такое: «Выйди на минуточку в соседнюю комнату, я тебе что-то скажу». Так звалась собака. Он рассказывал, что у него собака, которая вот так называется.

Что у него мютерхен стояла, вы знаете? Он выдумал, что во дворе стоит кукла, что ли, кукла-статуя его старушки, около его двери. Каждый раз, подходя к своей двери, он здоровался с ней по-немецки: «Гутен таг, мютерхен!» А уходя, прощался: «Ауфвидерзейн, мютерхен!» ^[73] — в зависимости от времени дня. Непременно по-немецки. Вы же знаете, что он окончил Петершуле?.. Потом он решил, что эта старушка уже умерла, и они с Введенским там же во дворе ее похоронили. Взяли ящичек, сделали вид, что ее туда кладут, и зарыли. Всё это была игра.

У него в комнате была фисгармония, на которой он играл. Очень любил музыку «Руслана и Людмилы», я ему подарила клавир. Он играл и сам напевал.

Любил ходить всегда одним и тем же путем по тем же самым улицам, не менять курс. Если приходилось почему-либо идти другим маршрутом, сворачивать или что, — это его травмировало, этого он не любил.

Он очень испугался, когда началась война. Как будто предчувствовал, что будет. Все ужасы, которые начнутся. Был просто вне себя. Марина была тогда у родственников, ее не было в Ленинграде, и Шварц был на гастролях. Он меня просто умолял, чтобы я ему помогла уехать из Ленинграда. Взять на себя все бытовые вещи, потому что денег у него никогда не было. Остальное он брал на себя. Я, конечно, не уехала. И Марина вернулась. И Шварц вернулся. А потом всё началось.

Последнее время, еще до войны, они жили страшно бедно. Фактически жили на то, что зарабатывала Марина, которая, зная французский с детства (как все мы в таких семьях), закончила институт иностранных языков, французское отделение, и ездила куда-то в пригород Ленинграда преподавать в школе французский. И бывало так, что вечером у них сборище и пьянство, но она с раннего утра вскакивала и ехала в школу зарабатывать. Было очень тяжело. Перед войной у нас они бывали очень часто, без своей компании.

Помню, что в последнее время они всегда ходили на концерты Шварца, — когда были открытые концерты ^[74].

На Московский вокзал, когда мы уезжали, нас провожали они. Какого числа, я не помню. Это было в августе. Мы уезжали с концертной группой в эвакуацию.

Уже на вокзале, — он же был религиозный, — в последнюю минуту он мне сказал: «Христос с вами!»...

Я мало что знаю о нем после его ареста. О дальнейшей судьбе Марины мне рассказывала ее троюродная сестра, которая приходила ко мне на улицу Горького, 22-б ^[75]. Она рассказывала, что Марина изо всех сил старалась принести ему хоть что-нибудь. Голод он переносил страшно, еще до ареста. Она старалась принести хоть корочку хлеба. И вообще, вела себя на высоте все

время. После его смерти она эвакуировалась, уехала на Кавказ.

Еще в мирное время Марина показывала мне фотографии и говорила: «Вот это моя мама... А это — мамочка, которая меня воспитала». Это была фотография тетки, у которой она выросла в семье. Как же ее фамилия была?.. Я эту тетку потом встречала, после Москвы. Она ко мне приходила и показывала фотографии, когда Марина была уже с Дурново в Америке.

Значит, после Даниной смерти она эвакуировалась на Северный Кавказ. Но туда пришли немцы. Уходя, они увезли с собой группу эвакуированных, в том числе Марину. Она оказалась в Германии, стала разыскивать, чтобы как-то зацепиться, свою настоящую мать, которая была замужем за очень богатым человеком, у них было очень крупное дело, — автомобильное, кажется^[76]. Они жили в северной Африке. Случилось так... Мать ее приняла. И однажды, после того как мать по делам поехала в Париж, она, вернувшись, узнала, что король-то, этот самый, автомобильный, сошелся с Мариной и Марина забеременела. Мать ее выгнала. Король как-то хотел восстановить отношения с Мариной, уйти от матери, но Марина отказалась. Она пыталась где-то устроиться... на работу. Кажется, домработницей. Но как только выяснилось, что она беременна, ее выгоняли. Теперь я уже не помню, родила ли она еще во Франции или уже в Америке. Сына^[77]. Старик не хотел порывать с ней отношения, а Марина не хотела к нему возвращаться ни под каким видом. Он, однако, помог ей уехать в Южную Америку. Там она встретила Дурново и вышла за него замуж. У них было книжное дело, книжная лавка. Это вы знаете, верно. Она одно время переписывалась с Петровыми^[78]. Они вам говорили? И фотографии показывали? И вы видели, что у них там, в доме Марины, Кремль стоит? Мне показывала эту фотографию «мамочка, которая меня воспитала», — она после войны ко мне приходила. Она показывала мне Маринин дом, когда Марина была уже с Дурново. И у входа, наверху лестницы, стоял макет Кремля. Фотографию Маринино сына показывала. Здоровенный парень, он был в этом самом... (*не договаривает*). Марина в письмах спрашивала обо мне, спрашивала об Антоне: как, что? Я ей послала, — это было уже после смерти моего мужа, пленки или пластинки, — все-таки, наверное, пленки, но они не дошли до нее. Дальнейшей судьбы Марины я не знаю^[79].

Борис Семенов пишет, что посреди комнаты сидела красавица Марина^[80]. Марина никогда не была красавицей. Она была человек.

Вы знаете, что Даниил Иванович всегда говорил *господа* — и никак иначе. Когда он обращался к людям, он никогда не говорил ни *товарищи*, ни *друзья*, — он всегда говорил только *господа*...

Я читала разные воспоминания о Данииле Ивановиче. Алиса Порет пишет больше о себе, чем о нем^[81]. И у Эськи такое же впечатление. Я уже не говорю про историю с дирижером, — чушь совершенно. И потом, оценка Даниила Ивановича-человека неверная. Это дамское блекотание. Но если у нее факты какие-то неверные, то стиль у нее тот, который был тогда, та самая тональность. Это так. Но факты... Вот когда врач к ней приходил, — это все могло быть, о собаках — тоже, но вот про дирижера чёрт знает что. Это было бы известно тогда. Но чтобы одна Порет заметила, — как это могло быть?!

Я помню, что, когда они в эвакуацию нас провожали, мы везли буханку хлеба или две, — ну сколько мы могли взять? — у меня всё было помечено, потому что вещи можно было ограниченно брать. И, значит, был пакет с хлебом, и мы думали: хоть бы его не украли. А Даниил Иванович сказал: «А вы припишите, что это хлеб *Киршона*^[82], тогда никто не тронет». Вот это стиль его.

Дорогой Владимир Иосифович, после Вашего ухода, вспомнила еще несколько мелочишек о Данииле Ивановиче. На всякий случай сообщаю.

Как-то (еще до брака с Мариной) у меня была контрамарка в цирк. Шварц был на гастролях. Так как Дан<иил> Ив<анович> любил цирк, то я предложила ему пойти со мной. С радостью согласился. Когда он за мной зашел, я, глядя на него, ахнула от изумленья: Он, — никогда не носивший очков, — на этот раз напялил какие-то огромные очки, сплошь усеянные приклеенными к стеклам мелкими узорами: фигурками, цветочками, формочками и т. д. из бумаги. Зрелище ошеломляющее... Я представила себе, как его вид будет действовать на людей, как все будут смотреть не на арену, а на нас и т. д. Скрыть свое впечатление, видимо, не удалось, потому что Д<аниил> Ив<анович> сразу всё понял, почувствовал, очки снял и, со свойственным ему тактом, на этом своем фокусе не настаивал.

Вечер провели очень мило.

Z

У нас на Невском № 88 переменили № телефона. Я все никак не могла его запомнить. Д<аниил> Ив<анович> тут же пришел на помощь, благодаря чему я тот № помню до сих пор: 80752. Он расшифровал его так: «Восемь ног, — всем подавать».

Z

Несмотря на все свои денежные затруднения тех лет, Д<аниил> Ив<анович> был необыкновенно щепетилен в этом отношении. *Никогда* не говорил об этом, *никогда* не просил, не брал займы. А если и брал, то *всегда* отдавал в срок всё до копейки, чего бы это ему ни стоило.

Z

Хорошо ли Вы, Владимир Иосифович, помните наш Невский пр<оспект>? Неподалеку от Дома книги есть костёл, а если идти дальше по направлению к Московскому вокзалу, то по правой стороне проспекта — здание Думы. Однажды Евг. Шварц, Хармс, Олейников и кто-то из не шибко культурных представителей администрации Детгиза вышли вместе из Дома книги. Представитель администрации объяснял им, что хорошо бы какое-то детгизовское объявление повесить не только на здании Дома книги, но и еще, — как он выразился... «на кóстеле»¹⁸. Все внутренне шарахнулись и смолчали. Когда дошли до здания Думы, Д<аниил> Ив<анович> (к<а>к всегда с непроницаемой серьезностью) добавил: «И не только кóстеле, но хорошо бы еще и на Думе» — (с ударением на последнем слог). Шварц и Олейников не удержались от реакции!

Н. Шанько

Z

Если Д<аниил> Ив<анович> в слове «когда» вместо буквы «к» произносил — «ф» (т<о> е<сть> говорил: «фогда»), то это значило, что события, о котором шла речь, никогда не было.

Например: «фогда я сегодня был в издательстве» означало, что его поход в издательство чистая выдумка — он там не был. Или: «фогда я жил в Москве», — опять чистая выдумка. В Москве не жил. И т. д. <...>

Н. Ш.

БОРИС СЕМЕНОВ

«ЕГО ТОМИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЯ»

Беседа с Б. Ф. Семеновым

Борис Федорович Семенов (1910—1992), художник, мемуарист.

Беседа с Борисом Семеновым записана мной 20 ноября 1974 года в Ленинграде, в редакции журнала «Нева», где Борис Федорович работал художественным редактором. Она состоялась за несколько лет до публикации его воспоминаний о Хармсе. В них он не повторил сказанное мне в тот день.

Борис Семенов. Я не знаю, говорила ли вам Эстер [Паперная], что я написал страниц тридцать о Данииле Ивановиче на машинке. Я вскоре предложил это одной редакции^[83].

Из самых интересных встреч в моей жизни ни одно имя не рождает во мне столько откликов, сколько имя Даниила Ивановича. Я с ним дружил, очень дорожил нашими отношениями...

Владимир Глоцер. Помните ли последнюю встречу?

Б. С. Последняя моя встреча была с ним незадолго до войны, и мы все тогда чувствовали, конечно, приближающуюся войну. Мы с Даниилом Ивановичем сидели в пивной на углу Эртелева переулка и Некрасова. А он был грустный, и это было как-то странно. (Но я не думаю, что это вам пригодится, потому что печатать это никто не будет.) Не последняя это была встреча, одна из последних. Вообще-то пивная была довольно паршивая. Запотевшие серые стены... Единственное, что там можно было посидеть в уголке. Разговор шел у нас об армии, об армейской службе. Он говорил, что попасть для него в армию было бы чудовищнее, чем попасть в тюрьму, потому что, он говорил, в тюрьме что? — можно думать, сидеть, писать. А уж в тюрьме находились многие наши друзья, в том числе Эстер. Так вот возможность попасть в армию представлялась ему чудовищной, дантовым адом^[84].

В. Г. Может быть, о другом времени...

Б. С. Какой это был год? 29-й. Возможно, 30-й. Я об этом не пишу, — это не могло уложиться в мой рассказ. Я могу вам это подарить.

В. Г. Мне подарить нельзя, потому что я Даниила Ивановича не видел.

Б. С. Просто я это никому не рассказываю, это может быть интересно. Так вот я что хочу вспомнить. Как я в первый или во второй раз попал в Дом Печати на Фонтанке. Чей это был особняк? — это выяснить нетрудно. Это 30-й год или 29-й, — не помню. И там внизу, когда вы входили, стояла деревянная раскрашенная скульптура Филонова, идолище такое стояло. Это идолище, филоновская статуя, вызывала у всех такое любопытство сильное. Меня туда водил мой старший товарищ, который писал стихи. Там, я помню, слышал выступление Багрицкого. Там мы смотрели спектакль «Наталья Тарпова» Сергея Семенова^[85], и однажды, когда мы пришли раньше времени туда, то возле статуи я увидел двоих каких-то людей. Один был в шубе... такой вывороченной мехом, а второй был в цилиндре, — можете себе представить. В 29-м году! Это в то время, когда цилиндр был неотъемлемый аксессуар образа буржуа — Керзона или Чемберлена^[86]. Они декламировали стихи друг другу. Я спросил моего товарища: «Это что, артисты?» А он сказал: «Нет, это обэриуты. Они тут выступали, значит, и почему-то на сцену выволакивали шкаф, и тот, что в цилиндре, выступал, сидя на шкафу в цилиндре». Человек в цилиндре это и был Хармс, с которым я познакомился несколько лет спустя.

Он элегантно так раскланивался, приветствуя входящих. Это было ему к лицу. Вот первое впечатление о Данииле Ивановиче.

В. Г. В своих воспоминаниях вы не касаетесь дружбы Даниила Ивановича с Введенским и другими?

Б. С. О его дружбе с Введенским и Леонидом Савельевичем Липавским, Савельевым... Я помню, что однажды мы просидели в такой компании: Александр Иванович Введенский, Леонид Савельевич Липавский, Даниил Иванович и я. Я думаю, это было на Выборгской стороне, за Невой где-то он жил^[87]. Я помню, мы просидели напролет всю ночь, что-то там выпивали, оставаясь абсолютно в форме. Это, наверное, год 38-й. Было очень интересно. Хармс читал Пушкина замечательно очень, и он «Песнь о вещем Олеге» изумительно читал и анализировал. Даже на таком хрестоматийном примере, знаете.

В. Г. Сам предложил читать Пушкина?

Б. С. Нет, это была суть встречи, читали отличные стихи. Отлично знали старых поэтов и уважали, хоть, казалось бы, такие смельчаки в поэзии. Это мне было очень удивительно и очень дорого. И то, что Хармс доказывал, было убедительно очень. «Египетские ночи» читал.

В. Г. Он сам читал?

Б. С. Да. «Идет прохожий... А между тем за край одежды прохожий трогает его». Вот как Пушкин поразительно пишет, говорил он.

В. Г. А есть там в ваших воспоминаниях о том, как вы иллюстрировали Хармса?

Б. С. Нет, я об этом не пишу, потому что то, что я иллюстрировал, носило какой-то характер несерьезный. «Быстро, быстро». И то, что я сделал к Хармсу, очень плохо, поэтому я не хочу об этом писать.

В. Г. Это было для заработка...

Б. С. Я часто придумывал это для Даниила Ивановича. Я не хочу, чтобы вы это писали. Просто Даниил Иванович был должен очень много денег Детгизу, а жил он очень бедно.

В. Г. И это в погашение долга шло?

Б. С. Что-то удерживал бухгалтер, а что-то он получал. Таким образом он написал свою блистательную вещь «Над косточкой сидит бульдог...»^[88]. Муратов^[89] сделал эти картинки, и Даниил Иванович взял на субботу и воскресенье и принес эти совершенно чудесные стихи. Зоценко очень любил это стихотворение.

Иногда мы с ним придумывали вместе эти истории в картинках. Это было очень интересно, потому что он очень много наговаривал этих историй уморительных, которые нельзя было для дошкольников печатать. Просто это были какие-то озорные, забавные приключения.

Есть у него такой рассказик в прозе, такая совершенно в духе Ионеско — «О падающих из окна старушках»^[90]. Вот это родилось как раз во время придумывания веселых картинок.

В. Г. Это вы помните безусловно?

Б. С. Да, конечно.

В. Г. Еще что-нибудь из того времени...

Б. С. С «Чижом»?.. (Думает.) Так трудно что-то очень свежее вспомнить. Мы вообще любили его. Ну, Габбе любила^[91]. И Маршак обожал его. И когда я был последний раз у Маршака в Ялте, мы тогда были в Доме писателей, Маршак утирал кулаками слезы и говорил: «Ах, Даня, Даня, как жалко, что он не дожил!..»

Маршак еще говорил вот что тогда. Когда он вспоминал «Плих и Плюх» Буша, он говорил: как Хармс сумел эти жестокости Буша в переводе избежать и перевести в план свой, а не Буша. Там собак наказывают хлыстами, а у Хармса никакого избиения нету. Маршак восторгался, как Хармс это сделал. Вот этим восторгался Самуил Яковлевич. Я немножко пишу в этих воспоминаниях.

В. Г. Если есть что-то, что не входит в воспоминания?

Б. С. Ну, анекдот просто. Это говорит о силе маршаковского темперамента, о его моторности, импульсивности. Он был очень импульсивный человек. И Хармс об этом рассказывал со смехом. Однажды вечером Маршак пригласил к себе Хармса, и они шли пешком из Детгиза на улицу Пестеля, к Маршаку. По пути они обсуждали какой-то свой замысел совместный, и вот дошли до цирка, где дорогу им преградил остановившийся хвост трамвая. А тогда появились американские длинные вагоны, двойной состав. И тут произошла сценка совершенно в цирковом вкусе, вкусе циркового антре. Был уже вечер, и они уже спешили домой, к Маршаку. А трамвай всё преграждал путь и дергался то вперед на несколько метров, то назад. И вот они делали несколько шагов то вперед, то назад, не имея возможности предугадать, что будет дальше с этим чёртовым трамваем. Какая-то движущаяся преграда была на их пути. И когда наконец трамвай тронулся в сторону Садовой улицы, то Маршак, разгоряченный, разъяренный и взбешенный поведением трамвая, стал поддавать его ногой, хлопать тростью. В эту красную спину трамвая. И Хармс никак не мог остановить Самуила Яковлевича, который так разозлился на технику, которая вредит человеку. И в тот момент, говорит Хармс, я понял, почему Маршак написал своего «Рассеянного»: он сам был похож на свой персонаж.

А вообще-то Самуил Яковлевич был очень рассеянный человек. Потому что когда он ездил на дачу, за ним приходила нянька, которая на него покрикивала: «А тросточку вы забыли? А портфель?» Мы ездили с ним часто в одном вагоне в Кавголово. Она постоянно за ним следила, чтобы он ничего не оставил: шляпу, портфель, тросточку.

Надо сказать, что от Даниила Ивановича у меня осталась только маленькая записочка, крохотная, в половинку календарного листка. Он написал мне, не застав меня, в редакции: «Дорогой Борис Федорович, где же Вы? Мы Вас искали всюду: и под диваном, и в шкапу. И ушли. Очень жаль». Почти дословно. А с кем он был, я не знаю, — может быть, с Александром Ивановичем.

Они были очень непохожие — Даниил Иванович и Введенский. Вот это удивительно, что они были друзья, и они были непохожие. Александр Иванович был человек, в общем, практический и умел зарабатывать деньги. Мы с ним делали диафильм для Дома медицинских работников. «Гребешков и Петушков» — так он назывался. И хоть было еще очень долго до завершения работы, Александр Иванович сумел пойти туда и добиться там получения аванса, хотя картинки у меня были далеко еще не готовы. В то время как Хармс, с его мягкой, интеллигентной манерой и с робостью перед начальством, — это не робость, — как это назвать? — с его стремлением избежать контакта с начальством, не умел это делать совершенно.

Александр Иванович имел хриловатый такой прокуренный голос, довольно низкого тембра. Даже суровый вид умел на себя напускать. И, приезжая сюда из Москвы, делал свои дела, издательские дела. Ну, умел, конечно, не очень. Любитель ресторанной жизни. Шикарного образа жизни, конечно, не было. Но стремление было. (Я говорю это так несвязно, а как вы потом это организуете?)

В. Г. Вы увидите.

Б. С. Так о чем мы говорили?

В. Г. О Введенском и Хармсе.

Б. С. Эта их несхожесть была, конечно, внешняя, потому что так-то они понимали друг друга замечательно. Очень мило подшучивали друг над другом. Но интересно, что Александр Иванович держался несколько барственно. У него был мундштук старинный, папиросы в мундштуке. И он обороняться умел от редакторов, от какого-то назойливого редактора. «Федорыч» он меня называл, хотя я был еще зелененький. А эта рукопись «Гребешков и

Петушков» лежит у меня целехонькая до сих пор.

Не хочу повторяться, то, что написано...

В. Г. А вы помните историю с песенкой «Из дома вышел человек»?

Б. С. Меня еще не было в «Чиже», но о скандале с «Из дома вышел человек»^[92] я хорошо помню, потому что Иван Шабанов^[93], автор рисунка к этому стихотворению, говорил, что когда он рисовал картинку к этим стихам, он сомневался, будет ли напечатана эта песенка. Вот это я помню.

В. Г. А в чем был скандал?

Б. С. А потому что кто-то из литературных редакторов усмотрел в этом намек на события 37-го года, намек на какие-то обстоятельства неприятные. Всюду хай. Ну, знаете, как говорят: «Читали, что в „Чиже“-то напечатали?» Мы работали в «Костре» тогда, а это смежные журналы. Считалось, что это скандальные стихи^[94].

В. Г. А как Хармс реагировал?

Б. С. Не знаю, он иногда уезжал в Царское Село, он учился там, — не знаю, где он там жил...^[95] Он любил уезжать на неделю. Он умел отключаться. Когда был в таком мрачном настроении. Вы знаете, что он иногда носил черную повязку на лбу?

В. Г. Нет, не знаю.

Б. С. ...на лбу черную повязку носил, объясняя, что это помогает ему от головной боли и вообще от плохого состояния. Или уезжал вот туда в Царское Село, когда у него были вот такие периоды: головная боль или...

В. Г. Нет, как он реагировал, когда вот такие обвинения, подозрения, — назовите, как хотите?

Б. С. Ну, как он реагировал, — боюсь, что вам не могу ответить на этот вопрос. Вот напечатали «Жил на свете старичок»^[96] — и стали ругать, письма стали ругательные приходить. Ну, потом, его поддерживали, — у него сторонники были, и в его отсутствие, — та же Эстер, и я, и Шварц Евгений Львович, допустим.

В. Г. Он как-то объяснял причины своей мрачности? Говорил о своем состоянии когда-нибудь?

Б. С. Говорил просто, что голова болит, и дурное настроение. Но мы вот старались его как-то занять, отвлечь, и он уходил... В гости затащить его в это время хорошо было. Или просто даже, я помню, по Неве зимой мы гуляли в солнечные дни. В Дом писателей ходили, на концерты какие-то.

В. Г. Читал ли он свое?

Б. С. Он читал изумительно свои стихи, так ритмически четко, — казалось бы без выражения, но с большим скрытым юмором, — невозможно было не улыбаться. Очень хорошо читал, очень хорошо. Он читал, например, «Врун»: «Ну! Ну! Ну! Брось! Брось! Брось!...»^[97] Если вы слышали это даже второй или третий раз, вы не могли не смеяться все равно.

В. Г. А рассказы?

Б. С. Читал, да. Читал прелестно. Я был первым слушателем его рассказа, где сторож действует, если помните, а появляется молодой человек в желтых перчатках. Это было написано при мне просто. Потом молодой человек щелкает пальцами и исчезает^[98]. Так вот этот рассказ он написал в «Чиже», — в пустой редакции под вечер, я делал макет, а он сидел в уголке и писал. Очень серьезно, перечеркивая. Вот. Тут он мне его прочитал. С очень серьезным видом, с чрезвычайно серьезным видом, который вызвал у меня самое восторженное впечатление.

В. Г. Как он реагировал на похвалу вообще?

Б. С. На похвалу? С некоторой застенчивостью, я бы сказал. Конечно, ему было приятно,

что он сделал то, что вызывает у слушателя радость или удовольствие, но так, несколько застенчиво улыбался.

Сидел в жилетке (у нас было жарко там, в «Чиже»), я клеил макет, а на диване — Даниил Иванович или еще кто-то. Он любил бывать у нас, Даниил Иванович.

Я ведь ходил тогда с бородой, вы знаете. А тогда борода была редкостью. Молодой человек с бородой был тогда редким явлением. Даниил Иванович одобрял мое новшество, потому что ему были не чужды всякие отношения с цилиндром, в частности.

В. Г. Он вымучивал подписи к картинкам, которые вы иллюстрировали, или делал их относительно легко?

Б. С. Нет, очень быстро делал. Так садился, задумывался, — это он делал великолепно, в общем. Такие были экспромты. Так иногда он не заканчивал: «Это у меня не получилось, — я завтра принесу», — бывало такое. Это всех восхищало, как он делал. Потому что я помню, вот Лёва Юдин принес свои силуэтики^[99]. И тут же было решено взять их для спинки номера. Это я говорю о самом последнем номере, который даже не вышел. Он у меня есть. Это 41-й год. И решено было дать их на спинку журнала. Тут же присутствовал Даниил Иванович, которому я предложил сделать под эти рисунки стихи. Он сделал что-то в одну минуту это. «Девять картин нарисовано тут, — мы рассмотрели их в девять минут. Если б их было немного побольше, мы б и смотрели на них бы подольше»^[100]. Присел — и написал. Буквально.

В. Г. А последняя встреча, помните?

Б. С. В пивной, по-моему, последняя встреча. Его томили какие-то предчувствия. Я был рад, что могу его отвлечь как-то. Наверное, у него были предчувствия, что скоро всё это кончится.

notes

Судя по всему, Хармсу тогда было лет шестнадцать — семнадцать.

Стихотворение «Иван Иваныч Самовар» было напечатано в 1-м же номере «Ежа» за 1928 год, а «Иван Топорышкин» — во 2-м номере того же года.

Стихотворение «Медная...» (1922), опубликовано в журнале «Русская литература», 1992, № 3 (А. А. Александров. «О первых литературных опытах Даниила Хармса»). Однако публикатор печатал стихи по списку художника Б. Ф. Семенова, отсюда — некоторые неточности в первой публикации и перепечатках ее.

Альбом Э. Мельниковой — типичный девичий альбом, с пожеланиями владелице от подруг и друзей, так что стихи Хармса составляют в нем в известном роде исключение. Альбом был любезно показан мне, и я мог сверить стихи.

Если выступление состоялось в 1926 году, то Хармс и его друзья еще не называли себя обэриутами, — это прозвание взято из будущего.

Виктор Семенович Ивантер (1904—2000), впоследствии журналист, редактор.

Игорь Владимирович Бахтерев (1908—1996), поэт, драматург и художник. Входил в ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства). Был репрессирован в 1931 году.

Александр Иванович Введенский (1904—1941), поэт, драматург, детский писатель. Ближайший друг Даниила Хармса. Входил в ОБЭРИУ. Был репрессирован в начале 30-х и в 1941 году. Погиб на этапе 19 декабря 1941 года.

Виктор Ивантер вспоминал так: «Они [обэриуты] читали свои стихи и были встречены с возмущением. Это я помню. Разразился скандал» (запись 2.V.1996).

Лев Васильевич Успенский (1900—1978), писатель, прозаик, больше всего известны его книги для детей по лингвистике.

Автор имеет в виду Детский отдел Госиздата.

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903—1958), поэт, переводчик, детский писатель. Входил в ОБЭРИУ. Был репрессирован в 1938 году.

Владимир Васильевич Лебедев (1891—1967), художник книги, живописец, плакатист, художественный редактор. Маршак рассказывал мне, что условием своего прихода в Госиздат он ставил одновременное приглашение в Детский отдел и В. В. Лебедева.

Елена Васильевна Сафонова (1902—1980), театральный художник и книжный график. Была репрессирована и отбывала ссылку, как и С. Гершов, в Курске.

Борис Михайлович Эрбштейн (1901—1964), театральный художник, живописец, график. Был дважды репрессирован: в 1932 и 1941 годах. Покончил жизнь самоубийством.

Евгений Александрович Кацман (1890—1976), живописец, график. Активный деятель Ассоциации художников революционной России (АХРР).

Виктор Николаевич Перельман (1892—1967), живописец. Активный деятель Ассоциации художников революционной России (АХРР).

Ираклий Луарсабович Андроников (1908—1990), литературовед, прозаик, мастер устного рассказа. Арестованный вместе с С. Гершовым, Д. Хармсом, А. Введенским и другими по делу Детского отдела Госиздата, был, единственный, очень скоро освобожден из заключения.

Приводя полностью имя и фамилию человека, которого мемуарист подозревал в доносах на него и его друзей, я, однако, никак не могу ни подтвердить, ни опровергнуть его утверждения. Совпадение фраз, сказанных при сыне И. А. Лихачева, могло быть и случайным. Проверить же версию мемуариста в настоящее время не представляется возможным.

Павел Николаевич Филонов (1883—1941), живописец, график и скульптор.

Казимир Северинович Малевич (1878—1935), живописец, график, теоретик искусства. Был близок к обэриутам. Хармс бывал у него. И посвятил его памяти стихи «На смерть Казимира Малевича», прочитанные на панихиде.

Борис Степанович Житков (1882—1938), детский писатель и автор большого романа «Виктор Вавич» (книги 1—3, 1926—1928, опубликован полностью в 1941 году).

Евгений Львович Шварц (1896—1958), драматург, сценарист, мемуарист, детский писатель.

Александра Яковлевна Бруштейн (1884—1968), драматург, детская писательница, мемуаристка. В первом браке К. В. Пугачевой ее свекровь.

Александр Александрович Брянцев (1883—1961), режиссер, актер и педагог, основатель и художественный руководитель Театра юных зрителей в Петрограде-Ленинграде в 1921—1960 годах, теперь Театр носит его имя.

Антон Исаакович Шварц (1896—1954), артист эстрады, чтец.

Реплика из пьесы Л. Леонова «Обыкновенный человек» (преьера спектакля в 1945 году).

Михаил Сергеевич Бруштейн (1907—1954), инженер-механик.

Лев Владимирович Канторович (1911—1941), график, живописец, театральный художник, журналист и писатель.

Спектакль «Дети Индии» (пьеса Н. Ю. Жуковской, постановка А. А. Брянцева), как вспоминала Пугачева, Хармс смотрел (премьера состоялась 10 июня 1928 года), в нем актриса играла мальчика-индуса Умеша. «Ваш чекан» упоминается в письме Хармса к Пугачевой от 9 октября 1933 года («Новый мир», 1988, № 4, стр. 136).

Лев Давыдович Ландау (1908—1968), физик-теоретик, академик. Нобелевский лауреат (1962). Друзья и близкие звали его Дау.

Об этой машине — в воспоминаниях В. Лифшица «Может быть, пригодится...» («Вопросы литературы», 1969, № 1).

Стихотворение С. Маршака и Д. Хармса «Веселые чижы», опубликованное в «Чиже», 1930, № 1.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник (1874—1952), поэтесса, драматург, прозаик, переводчица, мемуаристка, детская писательница.

Стихотворение С. Надсона «Молитва» (1880). Мемуаристка цитирует его по памяти, с пропуском одной строфы, изменением нескольких строк и тому подобное.

Действительно, Н. Гумилев, «Почтовый чиновник» (1914). Цитировано по памяти.

Николай Павлович Акимов (1901—1968), театральный режиссер и художник.

Николай Павлович Охлопков (1900—1967), режиссер и актер. В 1930—1937 годах возглавлял Реалистический театр.

В письме от 9 октября 1933 года: «Удивительно, что видел я Вас всего четыре раза, но все, что я вижу и думаю, мне хочется сказать только Вам» («Новый мир», 1988, № 4, стр. 135).

В «Новом мире» (1988, № 4) опубликовано девять писем Хармса к Пугачевой.

В Записной книжке Хармса (1933 года) есть такая запись: «Шёл по Неве и кричал: „Капа!“» (*Даниил Хармс. Записные книжки. Дневник. В 2-х кн. Кн. 2. Подготовка текста Ж.-Ф. Жаккара и В. Н. Сажина. СПб., 2002, стр. 64*).

Владимир Николаевич Яхонтов (1899—1945), артист эстрады, чтец.

Александр Осипович Моргулис (1898—1938), переводчик с французского, писал стихи. Он и его жена пианистка И. Д. Ханцин (1899—1984) были в дружеских отношениях с О. Э. и Н. Я. Мандельштамами. О. Мандельштам посвятил А. Моргулису десять шуточных стихотворений (так называемые «моргулеты»). Репрессирован в 1936 году.

Фамилия Моргулиса мелькнула в письме Хармса от 10 февраля 1934 года — предпоследнем из адресованных Пугачевой.

В письме от 4 ноября 1933 года: «Милая Клавдия Васильевна, я посылаю Вам свое стихотворение: „Трава“» («Новый мир», 1988, № 4, стр. 140). Это, увы, не сохранившееся полностью большое стихотворение, которое Хармс написал в ссылке. Немногие строки из него восстановлены по памяти Е. В. Сафоновой и В. Н. Петровым.

Наталья Петровна Кончаловская (1903—1988), поэтесса, переводчик, детская писательница, мемуаристка.

Жена мемуариста, Маэль Исаевна Фейнберг (1925—1994), запомнила эту фразу со слов мужа несколько по-другому: «Я хочу сказать, что говорил Хармс Илье Львовичу. Он мне рассказывал, как Хармс был в жилете, он показывал какие-то шарики. А потом рассказ съехал на отца. И он сказал: „Мой отец сначала был революционером, потом — сумасшедшим, потом — богословом“» (запись 2.III.1979).

Иван Павлович Ювачев, псевдоним И. П. Миролубов (1860—1940), народоволец, ученый, мемуарист, церковный писатель.

Начало стихотворения Хармса для детей «Врун», опубликованного в «Еже» (1930, № 24).

Так мемуарист называет перевод Хармса с немецкого под названием «Плих и Плюх» (впервые — в «Чиже», 1936, № 8—12). А имеет он в виду отдельное издание: Вильгельм Буш, «Плих и Плюх». Вольный перевод Д. Хармса (М.—Л., Детиздат, 1937).

Леонид Савельевич Липавский, псевдоним Л. Савельев (1904—1941), поэт, детский писатель, редактор, автор философских и лингвистических работ. Погиб на фронте.

Гостиница и при ней ресторан на Михайловской улице (в советское время — улица Бродского). До войны Детиздат помещался в здании Филармонии.

Алексей Федорович Пахомов (1900—1973), живописец, график, художник книги.
Полагаю, что речь шла о рисунках и подписях к ним для «Чижа».

Ошибка памяти: Хармс не жил на Петроградской стороне.

Дмитрий Иванович Чевычелов (1904—1970), до войны — главный редактор, затем (в 1941—1959 годах) — директор Ленинградского отделения Детиздата, бывший цензор, сотрудник Главлита.

Не располагаю сведениями о нем.

Марина Владимировна Малич, во втором браке Вышеславцева, в последнем Дурново (1912—2002), преподаватель французского, в эмиграции (Венесуэла) — владелица книжного магазина. Вторая жена Хармса. О ее судьбе — в моей книге «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» («Новый мир», 1999, № 10).

Во время записи Сусанна Михайловна сначала сказала следующее: «Хармс выступал отлично перед детьми, презирая свою аудиторию: жужжал мухой, изображал бляенье козы, и было его искренне жалко: видно было, что он все же человек, как ни давал себе труд это скрыть».

Николай Макарович Олейников (1898—1937), поэт, детский писатель, редактор. Репрессирован в июле и расстрелян 24 ноября 1937 года.

Ошибка памяти: это восклицание персонажа из рассказа Леонида Андреева «Оригинальный человек» (1902).

Александр Владимирович Разумовский (1907—1980), драматург и сценарист. Входил в ОБЭРИУ.

Григорий Борисович Ягдфельд (1908—1992), драматург, детский писатель. Мне не случилось повидать его и поговорить с ним.

Могу предположить, что Лёшка — это Алексей Владимирович Бузников (1906—1958), а кто такой Сашка, еще предстоит выяснить.

Евгений Викторович Тарле (1875—1955), историк, академик.

Владимир Васильевич Стерлигов (1904—1973), живописец и график. Был в 30-е годы репрессирован.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878—1939), живописец, график, художник книги, писатель.

Владимир Евграфович Татлин (1885—1953), живописец и график.

Эська — Эстер Соломоновна Паперная (1900—1987), пародист («Парнас дыбом»), детская писательница, переводчик. Была в конце 30-х годов репрессирована.

А. И. Шварц. Муж Н. Б. Шанько.

Павел Карлович Вейсбрем (1899—1963), режиссер. Действующее лицо пьесы Д. Хармса — водевиля в четырех частях «Адам и Ева» (1935), опубликованного в журнале «Юность» (1987, № 10).

Мария Александровна Призван-Соколова (1908—2001), драматическая актриса.

Ираклий Андроников.

Ничего не могу дополнительно сообщить о ней.

До революции 1917 года в Смольном размещался Институт благородных девиц, при советской власти там находились руководящие партийные и государственные органы Ленинграда.

«Здравствуй, мамочка!» и «До свидания, мамочка!» (нем.)

У Д. Хармса есть рассказ «Пашквиль» (1940), действующее лицо которого «знаменитый чтец Антон Исаакович Ш.» «любило перед своими концертами полежать часок-другой и отдохнуть». Он также персонаж упомянутой пьесы «Адам и Ева». О дружбе Хармса и Марины Малич с Антоном Шварцем и Наталией Шанько — в моей книге «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» («Новый мир», 1999, № 10).

Марина Николаевна Ржевуская (1915—1982), инженер-кораблестроитель.

Второй муж Марины Малич, Михаил Вышеславцев (1886—1962), не был никаким автомобильным королем, он был менеджером в фирме у Форда.

Сын, Дмитрий Вышеславцев, родился в 1947 году в Ницце (Франция), менеджер.

Петровы — семья Всеволода Николаевича Петрова (1912—1978), искусствоведа, с которым дружил Хармс в последние годы. Ему посвящен рассказ «Исторический эпизод» (1939) из цикла «Случаи». Написал воспоминания о Хармсе («Панорама искусства 13». М., «Советский художник», 1990).

О судьбе Марины Владимировны Малич — в моей книге «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» (первое отдельное издание: М., «Б.С.Г.-Пресс», 2000).

Мемуаристка имеет в виду воспоминания Бориса Семенова «Чудак истинный и радостный» в журнале «Аврора» (1977, № 4).

Алиса Ивановна Порет (1902—1984), живописец, график, художник книги. Ее воспоминания о Данииле Хармсе напечатаны в «Панораме искусств 3» (М., «Советский художник», 1980).

Владимир Михайлович Киршон (1902—1938), драматург, литературно-общественный деятель, один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Был репрессирован.

18 Ударение сделал на первом слоге. (Примеч. Н. Шанько.)

Беседа состоялась до публикации воспоминаний Бориса Семенова о Хармсе («Чудак истинный и радостный», в журнале «Аврора», 1977, № 4).

7 августа 1937 года Хармс записал: «Если государство уподобить человеческому организму, то в случае войны, я хотел бы жить в пятке» («Новый мир», 1992, № 2, стр. 217).

«Наталья Тарпова» Сергея Семенова (1893—1942) была поставлена в Доме Печати в 1927 году.

Джордж Керзон (1859—1925), министр иностранных дел Великобритании. Известен своим меморандумом советскому правительству, который носил характер ультиматума. *Остин Чемберлен* (1863—1937), министр иностранных дел Великобритании в 1924—1929 годах, один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР.

Введенский жил на Съезжинской улице, дом 37, квартира 14.

Стихотворение «Булдог и Таксик». Опубликовано в «Чиже» (1939, № 5).

Николай Евгеньевич Муратов (1908—1992), график, карикатурист, книжный иллюстратор.

Рассказ «Вываливающиеся старухи» (1937) из цикла «Случаи».

Тамара Григорьевна Габбе (1903—1960), драматург, литературный критик, детская писательница, фольклорист, редактор.

Опубликована в «Чиже», 1937, № 3. После этого Хармса в журнале целый год не печатали.

Иван Васильевич Шабанов (1906—1973), книжный график и живописец.

О неприятностях, связанных с публикацией песенки, Хармс записал в своем Дневнике: «Пришло время ещё более ужасное для меня. В Детиздате придрались к каким то моим стихам и начали меня травить. Меня прекратили печатать. Мне не выплачивают деньги, мотивируя какими то случайными задержками. Я чувствую, что там происходит что то тайное злое. Нам нечего есть. Мы страшно голодаем» («Новый мир», 1992, № 2, стр. 216).

Хармс жил у своей тети, Натальи Ивановны Колюбакиной (1868 — после 1945), словесника, директора детскосельской школы, которую он оканчивал.

Первая строчка стихотворения «Веселый старичок». Опубликовано в «Чиже», 1940, № 6.

В напечатанном виде («Еж», 1930, № 24): «Ну! Ну! Ну! Ну! / Врешь! Врешь! Врешь!
Врешь!»

Рассказ «Молодой человек, удививший сторожа» из цикла «Случаи».

Лев Александрович Юдин (1903—1941), живописец, художник книги, заведующий лабораторией Формы в ГИНХУКе (Государственном Институте художественной культуры). Погиб на фронте.

«Чиж», 1941, № 6. Цитировано по памяти, с некоторыми изменениями текста.